

Померанц Григорий Соломонович
Профессия неудачника: жизненная мозаика.

В пятидесятые годы, получив справку о реабилитации, я вернулся в Москву и – неожиданно для себя – стал «люмпен-пролетарием умственного труда». Так меня назвал бывший коллега по нарам и будущий романист Е.Б. Федоров¹.

Это отчасти было моим свободным выбором. Женщина, которую я полюбил, могла прожить не более 10 лет, а может быть и гораздо меньше. Так решили врачи, и они были правы. Ирине Игнатьевне (Муравьевой) не хотелось меня надолго отпускать, а мне – оставлять ее одну. Зарабатывать на жизнь легче было отдельными заказами. Основным заказчиком был сектор информации Института экономики. Я просматривал каталоги и выбирал подходящее для реферирования в БЛ², ФБОН и т.п.

Так мне попала книга Гензеля «К теории центрально-административного хозяйства», над которой я засел надолго. Это было в фондах ФБОН, и я ходил туда ежедневно, часа на четыре. Ко мне привыкли, и когда в секторе экономики надо было навести порядок в картотеке, стали упрашивать зачислиться туда на временную работу недели на две. Я нехотя согласился. Систематизацией заниматься я не любил. Но если надо помочь хорошим людям, то я могу на пару недель стать человеком-машиной. Проклиная себя, я согласился, я за эти две недели очень устал и, как оказалось, кое-как исправил то, что сотрудницы напутали. И меня стали приглашать в другие отделы. Я соглашался – но без систематизации и на полставки, чтобы скорее уходить домой.

Потом случилось непоправимое – Ира решила вырезать каверну и умерла на операционном столе. Мне некуда было больше уходить, разве к пасынкам, делить с ними горе. Некуда было девать опустошенное время. И я

¹ Печатался в «Новом мире» и других журналах.

² Библиотека им. Ленина.

согласился с предложением Софьи Иосифовны Кузнецовой поступить к ней в отдел востоковедения, переименованный в отдел стран Азии и Африки.

Работа библиографа, при известном устройстве ума, позволяла восстанавливать то, что казалось навеки утраченным нашей разбежавшейся по сторонам цивилизацией: созерцать развитие общества как единого целого. Обрывки фактов, на которые я наталкивался, были вызовом способности к синтезу.

Вскоре Леонид Ефимович Пинский (у которого я был в 30-е годы любимым учеником) стал удивляться, что у меня за работа, которая мне так много дала. А работа была незавидная. Сперва очень от нее голова болела. Но потом привык, научился просматривать никчемные статьи и писать аннотации галопом, высвобождая себе время читать то, что интересно, и за несколько лет стал заправским востоковедом и культурологом и социологом. Мне никто не дал простора для развития. Я сам его создал, – и в моем ничтожном положении нашел залог свободы: нельзя было запугать угрозой снять с работы (это с какой именно? С библиографического конвейера? За 105 р. в месяц? Да любая другая была бы легче).

Осенью 1966 года сослуживец по ФБОН, Игорь Александрович Энгельгардт, подсунил мне статью Лифшица «Почему я не модернист». Читать было неохота, но Игорь Александрович упорствовал. В конце концов, я прочел. И тут же, в Белом зале (где библиографы расписывают журналы), часа за три настроил то, что потом было опубликовано в «Литературной газете». Лифшиц пришел в ярость, посвятил мне 80 процентов своего ответа, и хочешь не хочешь, пришлось и меня напечатать. Под заголовком, придуманным в последнюю минуту, «Кто совратил Калибана?». (А кто такой этот Калибан? Замред Сырокомский

не знал – и не вычеркнул. Но и читатели не знали. Любопытно провести опрос: кто читал драму Вильяма Шекспира «Буря»?)

Перепалка наделала шума. Откликнулась «Фигаро литерер». Был и отечественный отклик: цензор, размахивая «Литературной газетой», где я назван пособником фашизма, заставил вырезать из «Народов Азии и Африки» мою статью по теории субэкумен. Я огрызнулся на Лифшица постскриптумом и еще одной прибавкой – про пять сортов интеллигенции. Этот текст прочел Солженицын, не понял (или забыл) и впоследствии приписал мне саркастическое определение интеллигенции четвертого сорта (одну из полемических стрел против Лифшица) как авторскую идейную платформу. Таким косвенным и неожиданным образом перепалка, сама по себе не очень значительная, вошла в историю.

Состав нашего сектора был дружный, почти семьей. Но ближе, чем с другими, я сошелся с Виталием Рубиным. Очень чувствовалась в нем традиция семьи. Я еще застал в живых его отца; к сожалению, тот вскоре умер.

В старике было какое-то редкое сочетание легкости и глубины. Философское образование, немислимое в наше время, проскальзывало, но не давило. Почти танцующее «ученое незнание». Мне кажется, Виталий унаследовал от отца легкость характера, бодрость, быстроту – но в Ароне Рубине было еще что-то...

Отношения с Виталием складывались просто и естественно, мы очень скоро подружились. Виталий был захвачен своей новой оценкой роли Конфуция, и я охотно слушал его рассказы о конфликте конфуцианского гуманизма с принципом государственной пользы в учениях школы Фа-цзя (легистов). Легизм возносился в сталинские годы и легко ассоциировался со сталинизмом, отчасти даже

персонально (апологеты Фа-цзя были нераскаявшиеся сталинисты). Я вполне сочувствовал пафосу Виталия и перенес его в свою речь 3 декабря 1965 года, на которую рассердился Семичастный, тогдашний руководитель КГБ.

Начав писать статьи по сравнительной культурологии, я непременно показывал Виталию первые варианты своих работ. С его помощью и с помощью других моих консультантов (А. Герасимова, А. Сыркина, М. Занда) я смог избежать промахов, неизбежных при отрывочном востоковедческом образовании. Но еще раньше у нас с Виталием открылось новое общее поле деятельности: капустники. Как-то вдруг возникло сознание, что зигзаги Никиты скорее расшатывают режим, чем укрепляют его, и отдельные хамские выходки заслуживают только смеха. Заговорило «армянское радио». Интеллигенция, смеясь, просталась со своими страхами. С какого-то капустника Виталий принес частушку:

«Мы с Пал Палычем вдвоем

Обнаглели — и поем...»

И мы с Виталием обнаглели. В 1961 году мы сидели рядом, слушая доклад о Кубе. Там, дескать, старое переплетается с новым. Например, по-прежнему устраиваются конкурсы красоты, но при этом учитываются и производственные показатели. Мы переглянулись с Виталием и секретарем комсомольской организации Игорем Добронравовым и начали давиться от смеха. В тот же миг решено было устроить капустник «выборы мисс ФБОН» и выбрать ее по производственным показателям. Потом производственные показатели были забыты и на первое место вылезла опасность культа мисс ФБОН. Выбрать королеву просто, но попробуйте ее переизбрать, это может оказаться и вовсе невозможным, как показывает пример недавнего прошлого... (долгая пауза) в Португалии, Греции и других капиталистических странах. Королева будет стареть, но повсюду ее

портреты в блеске красоты, а юных соперниц ссылают в книгохранилище на каторжные работы... Всего в своей предостерегающей речи уже не помню, но смеха было много. Культ личности я описал довольно подробно. Виталий, потерявший здоровье в проверочных лагерях после выхода из окружения, играл роль капустного прокурора, наш общий друг Василий Николаевич Романов, сидевший еще в 1934 – 1937 годах, тоже что-то острил... В конце концов, нескольких девушек признали одинаково хорошенькими и таким образом избрали коллективное руководство. Публика наполовину состояла из читателей библиотеки; наши шутки разошлись по нескольким институтам.

Следующий капустник был посвящен культуркампу Никиты против Эрнста Неизвестного (впоследствии спроектировавшего памятник на Новодевичьем). Называлось это "Террор в ФБОН". Свинарка Мария Заглада, судившая о живописи, была травестирована в Марию Зануду, в маске поросенка хрюкавшую перед пустой рамой (абстрактная живопись). Центральным номером были вызовы в кабинет следователя. Мне удалось убедить молодого ученого с довольно простым лицом (сына чекиста) сыграть роль следователя, а у него хватило чувства юмора согласиться. Роль свою он сыграл превосходно, совсем как на Лубянке. Являлись мы к нему с парой белья под мышкой. Моя жена говорила, что ей было совсем не смешно, а страшно, но хохот был гомерический. Дня через два Никита выступил с разгромной речью против абстракционизма. Молва, перепутав, посчитала наш капустник прямым ответом на его речь. Но до такой наглости мы не доросли.

Когда «пошел Никита юзом», я спросил Виталия: «Где будет какой-нибудь интересный доклад или дискуссия?» Он ответил: «Сегодня в Институте истории доклад Елены Михайловны Штаерман о циклических теориях исторического процесса». Циклические так циклические. Мы отпросились у заведующей отделом и пошли в буфет...

Пока Виталий стоял в очереди за винегретом, я присел за столик и набросал на каталожной карточке несколько мыслей по поводу циклических теорий. С этим идейным багажом мы поехали в Институт истории и стали слушать. Елена Михайловна долго, часа полтора, крутилась вокруг высказываний Маркса, Энгельса, Ленина. Кончила она примерно на том, с чего начала: что классики марксизма кое-что о циклических теориях говорили, но ничего определенного из их высказываний не вытекло. А отойти от цитат и прямо сказать, что она сама думает, докладчица не решилась.

Когда Елена Михайловна кончила, председатель спросил: «Кто хочет выступить?» Все молчали. Никто не решался ступить на не огороженное цитатами поле. Я поднял руку — и мне сейчас же дали слово.

Опыт публичных выступлений у меня был только один: капустный. И в Институте истории, после архиосторожного доклада, я выступил так:

– По-моему, есть два типа циклических движений. Первый случай: обезьяна накладывает друг на друга ящики, чтобы достать банан. Накладывает неумело, ящики разваливаются, и приходится начинать заново. Это модель циклизма на основе невыполненной исторической задачи. Второй случай – колебания моды. Юбки укорачиваются до предела, а когда предел мини достигнут, начинается движение в обратную сторону до предела макси. Это модель циклизма на основе выполненной исторической задачи.

Председатель, М.Я. Гефтер, спросил: «Нельзя поближе к истории?» – «Пожалуйста», – ответил я, и дал несколько заранее припасенных примеров: из истории доколумбовой Америки, Французской революции, древнего Китая и т. п. Когда я кончил и сходил с трибуны, Виталий сидел затылком к кафедре. Потом мне объяснил: я смотрел, не собираются ли тебя линчевать. Но линчевать меня не стали. Только удивленный Гефтер спросил во время перерыва Виталия: откуда

Померанц знает про Цинь Шихуанди? Виталий откровенно ответил: «Это я ему рассказал».

Так начались мои попытки вклиниться в дискуссии, которые велись в институтах Академии наук, и превратить их вялое течение во что-то вроде французской банкетной кампании 1847 года. Это была проба, эксперимент. Либо начнется цепной процесс, либо мой расчет неверен. Проверкой мог быть только опыт. Я приходил, садился, слушал. На что-то хотелось возразить. Начнут в голове мелькать мысли, я их набрасываю на каталожные карточки и прошу слова. Иногда выходило хорошо, иногда не очень, но своего я добился. В ноябре 1965 года меня пригласили сделать двадцатиминутный доклад на конференции «Личность и общество» в Институте философии.

Никакого сговора ни с кем у меня не было, я не знал, что будут говорить другие и кто будет в зале. Но обстановка сама по себе сложилась такая, как надо. Лед растопил Виталий своей речью о совести историка. Это была именно речь, а не научное сообщение. Он говорил, что ему стыдно назвать свою профессию: историк; что слово история стало синонимом лжи, бессовестной фальсификации, духовной продажности... Говорил горячо, проводили его аплодисментами, и когда я начал с известных стихов Наума Коржавина, зал сразу откликнулся (я это почувствовал):

Мы сегодня поем тебе славу,
И как видно, поем неспроста,
Основатель великой державы,
Князь Московский Иван Калита.

Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл – но не в этом суть.
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.

А потом, когда кто-то попытался возражать с позиций всепобеждающего учения, Лена Огородникова-Романова сравнила моих оппонентов с Шигалёвым: и они, дескать, начинают с идеи свободы и приходят к рабству. Любопытно, что все три острые речи произнесли сотрудники ФБОН, библиографы, а не члены официального корпуса советской науки. «Библиограф – профессия неудачника», – часто говорила Лена Огородникова. Судя по ней – профессия человека, и не искавшего удачи. Она умерла несколько лет спустя от инсульта, оставив несколько эссе, написанных в стол, и только три опубликованные статьи (в сборнике «"Август 1914-го" читают на родине»). Я до сих пор помню некоторые ее реплики в коридорах ФБОН. Лена была поэт реплики, то есть самого бескорыстного слова, брошенного, чтобы прозвучать и исчезнуть. Так и вся ее жизнь.

В 1966 году наши надежды подогрела культурная революция в Китае. Я еще раз использовал рубинскую концепцию раннего конфуцианства в статье «Размышляю о Циньском огне», оставшейся ненапечатанной и впоследствии включенной в мою книжку «Неопубликованное», Мюнхен, 1972. Какие-то надежды подавала и хозяйственная реформа. Либо она должна была провалиться (что и случилось), либо захватить и политику, и культуру. Что получится – было не совсем ясно. Разочаровала меня только весна 1967 года. Очень сильным ударом было чтение в апреле романа А. Солженицына «В круге первом». Много в романе захватывало, радовало, было то самое, что мне хотелось увидеть высказанным, напечатанным. И в то же время... Именно чужое в своем было невыносимо. Началось то направление оппозиционной мысли, которое и сегодня меня глубоко отталкивает... Вторая травма была реакция Москвы на шестидневную войну. Прага ликовала, в Варшаве интеллигенция завалила посольство Израиля цветами. В Москве вялое и скорее враждебное недоумение.

В 1956 году я негодовал на Израиль за то, что он расколол мировое общественное мнение в дни будапештского кризиса. Но в 1967 году не было рабочих советов в Венгрии, не было союза Израиля с Англией и Францией, да и колониализма почти не было... На Синайском полуострове столкнулись демократия и тоталитаризм, и демократия победила. Это было ошеломительно, как победа греков под Марафоном. Но в Москве (за исключением очень узкого круга) не было самого желания свободы, тоски по свободе, радости за успех свободы. По этим впечатлениям легко было предсказать события 1968 года: всеобщий порыв к свободе в Чехии, движение интеллигенции в Польше, не поддержанное (тогда) народом — и отсутствие всякого движения в России (несколько диссидентских ласточек не делают весны).

Виталий дольше сохранял оптимизм. Помню, он с Василием Николаевичем Романовым пытался созвать профсоюзное собрание для выступления против директора, В. И. Шункова, запретившего вечер Солженицына в нашей библиотеке. Председатель тогда бросил свой колокольчик и таким образом призвал публику расходиться, поскольку повестка дня была исчерпана. Я взял колокольчик и заявил, что собрание продолжается (хотелось довести эксперимент до конца, до голосования резолюции). Кто просит слова?

Заместительнице директора, И. Ходош, пришлось произнести демагогическую речь. Потом я поставил рубинско-романовский вотум недоверия на голосование... Против дирекции голосовали трое — авторы предложения и я; с этих пор нам не платили премиальных. Остальные голосовали по обычным советским нормам.

Следующий раз Виталий вспыхнул, когда Лариса Богораз и Павел Литвинов дали пресс-конференцию иностранным корреспондентам. Помню, это и меня поразило. Но я никак не мог согласиться со словами Павла, что «у щуки выпали зубы». А Виталий был совершенно захвачен. О своих поездках к Павлу он рассказывал с неподдельным энтузиазмом.

События в Москве шли так, что для энтузиазма оставалось все меньше места, зато в Праге... Иногда и мне казалось, что Прага вызовет цепной процесс в Восточной Европе, а там – чем черт не шутит...

Но наступил август. Оставалось или отказаться от оптимизма, или от своих корней в России. Я выбрал первое, Виталий – второе. Думаю, что и в этом случае, как и в спорах о Конфуции и Чжуанцзы, оба были правы. Тут самое трудное – понять самого себя. Период колебаний занял у меня года два. Он отразился в «Неуловимом образе», в «Двух принцах» и в первых частях «Снов земли». Победило желание – не суетиться, принять свою судьбу во внешнем и двигаться по мере сил внутрь. В этом решении сказались много обстоятельств. Я не мог представить себя в другом языковом облике. А если за мною всюду потащится русский язык, то зачем, без особой нужды, уезжать из России? Писать пока не мешают. А печататься... Я уже привык, что книги печатаются спустя четверть века. Это отчасти даже хорошо: отсеивается литературная суета. Можно ли писать в гниющем обществе? Можно. Империя, ради которой Сервантес потерял руку, развалилась, а «Дон Кихот» остался, и «Жизнь есть сон» Кальдерона, и Эль Греко, и Сурбаран... Всюду можно вживаться в жизнь до любой сильной тебе духовной глубины. А уникальный исторический опыт утопии – неотразимо привлекателен для историка...

Какую-то роль играли и личные связи, и диалог со спорадически возникавшей аудиторией, и то, что у меня нет детей (которых надо спасти). Все это важно для меня – и совершенно неважно для другого. Виталия неудержимо потянуло туда, где его деятельный, рациональный и гуманный оптимизм получил новый смысл. Я его вполне понимал. Огорчали меня только накладные расходы выбора. Но никто не расходится с женщиной, не вспоминая ее недостатков. Так и с доисторической родиной: с нею нельзя было расстаться, не облив презрением...

Здесь, как и во многих других случаях, о которых я писал, ни у какого личного решения нет монополии на историческую и нравственную

оправданность. Истина в каждом случае индивидуальна, для каждого своя. Богу безразлично, в какой угол человек забьется. Важно, чтобы это был его угол, чтобы человек нашел свой дом и в этом доме – тишину и покой для движения вглубь. Дом Виталия нашелся в Израиле. С точки зрения страны, которую Виталий покинул, начавшаяся алия тоже имеет смысл. Распад системы начался с распада оппозиции. Не сумев увлечь народы общей борьбой за права человека, оппозиция стала рассыпаться и наполовину рассыпалась на национальные партии. В обществе, где одна официальная партия и много наций, центробежные тенденции необходимо должны были принять национальный характер. Национальности превращаются в партии – сионизм, сепаратизм и проч. Только маленькое ядро остается верным космополитическим принципам гуманности и прав личности, В новых условиях это ядро все больше отступает на роль всесоюзного политического Красного креста и информационного центра Международной амнистии. Я всем сердцем сочувствовал его бескорыстному служению, но не возлагал на него политических надежд.

Чувствовал ли Виталий трагизм израильской судьбы? Сознал ли он, что меняет положение узника на положение бойца в гарнизоне осажденной навечно крепости, который может отбивать врагов, делать вылазки, но не может снять осаду?

Одного он не знал бесспорно: что его самого ждет придорожный столб в пустыне Негев и жизнь оборвется мгновенно – без раздумий, сожалений, мук. Легко для него, невыносимо для близких (я испытал нечто подобное и понимаю это). Смерть приходит как вор, и вот уже нет многих, и остаются ненапечатанные статьи, оборванные черновики. Может быть, все мы – Божьи черновики, которые к исходу дня сметают и бросают в корзину. И редко какой лист, написанный начисто, остается на столе.

На эти вопросы никогда не будет ответа. Но каждый человек должен стать самим собой и пройти свой жизненный путь по своей продуманной воле.

Впрочем, размышления опять увлекли меня очень далеко вперед. Вернусь снова (кажется, в последний раз) к началу 60-х. Когда я просто был никто. Так, как сказала Эмили Дикинсон: ты никто, и я никто; значит, нас двое... Значит – просто жизнь. В этой жизни случались скверные анекдоты, глупости, за которые приходилось расплачиваться. Но все это было ничтожно сравнительно с огромной жизнью. Огромной жизнью рядового человека, который ходит на работу, как все, и каждый будничным днем снимает табель.

Поступая в штат ФБОН, я уже немного знал буддизм дзэн и сформулировал проблему в дзэнских терминах: «Можно ли быть буддой, снимая табель?» То есть сохраню ли я внутреннюю свободу, отказавшись от внешней свободы люмпен-пролетария умственного труда, сменив в 1960 г. свободу Диогена на незаметную свободу Канта? Заведующая отделом, Софья Иосифовна Кузнецова, мне понравилась. Она подбирала способных людей и давала им полную волю – лишь бы работа не стояла. Я сунул голову в хомут и проработал на одном месте 18 лет – до пенсии.

Фундаментальная библиотека открыла мне много возможностей. Это было окно в мир. Несколько лет я осваивал кучу информации, а потом стал перестраивать ее по-своему и написал несколько книг, опубликованных сперва на Западе, а потом и у нас, после перестройки. Правда, выкраивая время на свое, приходилось работать, как почтовой кляче, но радость жизни я не терял, жизнь углублялась и собиралась в пучок за выходные дни – в лесу, летом на даче, осенью у моря...

Дослужившись до пенсии, я уволился, но память о статьях и книгах, прочитанных в Белом зале ФБОН, продолжала жить в моей голове, вступать в новые отношения с новыми фактами, новыми духовными открытиями и с жизненным опытом, который я приобрел в прошлом. То, что во мне сложилось, опирается на память внутреннего сопротивления террору 30-х годов, преодоления страха на войне и борьбы творческого меньшинства с косностью, накопленной веками. Мне хочется оставить в наследство это сочетание тем, кто будет жить в XXI веке.